
Насыщение, а не вкус,
о котором водит Француз
неустанно четыре века
языком по полости рта! —
Вся премудрость его пуста
для голодного человека!
Мельтешения скудных блюд
не приемлет привычный люд
к изобилию щей да каши;
нет урчания в животе —
можно думать о красоте:
насыщение — счастье наше!
Преуспеет в словесном тот
ремесле, кто туго набьёт
отощавшему снедью пузо, —
чем богата, всё из печи
с пылу с жару на стол мечи,
да поболе, русская Муза!

Огромная туша мёртвой косатки,
волнами выброшенная свирепыми,
на пустынном валяется берегу.

Лоснящийся бок июльскому солнцу
подставив, плотная и тяжёлая,
она уже начала разлагаться и гнить.

Вскоре громада прежнюю форму
утратит, лишится былой упругости,
грузно потом осядет и оплывёт.

Душный прогорклого жира запах
неуловимо, но властно тем временем
воздух окрестный вытеснит весь.

Наверно, недели, месяцы, годы
должны пройти, прежде чем жители
мест отдалённых голый остов найдут.

Они на мелкие части распилят
его, из костей вырежут украшения
и напишут на них о бренности бытия.

Сложного сложнее, простого проще,
то неповоротлива, то шустра,
громоздясь на горы, врываясь в рощи,
языками яростными костра
ласково крутя, шевеля глумливо,
рушится стремительная с обрыва
и встаёт целёхонька, как ни в чём
не бывало, плотная и сквозная,
сведуща во всём, ничего не зная,
собственным себя подперев плечом.

Сопредельным странам грозя набегом,
мир даруя прочим издалека,
Ноевым взлетающая ковчегом
над водой под самые облака,
раздаётся вширь обоюдокрыла,
весть о том, что будет и есть и было,
претворить пытается в кровь и плоть
всех существ, замешанных на соблазнах,
потому что в лицах и видах разных
праведную любит её Господь.

Златотрепещущее над нами
море поблекло, по кривизне
брежной разметаны кверху днами
переселенцев сюда извне
судна, повесив обломки вёсел,
ржавые высунув якоря,
щеглы окрест раскидав как зря, —
их обречённый народец бросил
без сожалений на произвол
и неизвестно куда ушёл.

Где вы? Неужто чужбины сладок,
а не отчизны суровой дым? —
Всё, что стремилось придти в упадок,
будучи старым иль молодым,
древним иль новым, пришло, различий
не проводя между тем и тем,
сделался велеречивый нем
край, где звериный лишь крик да птичий
редко, но скатываются в ком, —
на языке здесь вещать каком?

Местная речь, наушась латыни,
взяться намерена за санскрит, —

недопроявленного донине
гул вещетворчества в ней сокрыт
под тарабарщиною Монгола,
Фрязина молвью, на суть скупой,
складом Варяжеским, скорлупой
Грецких наречий, пятой глагола
Аглицкого и окружных стран, –
слышен сквозь них, изначально дан.

Из обезлюдевших порубежий
духи земли собрались на зов,
дабы, насытившись кровью свежей,
память и время начать с азов,
сооружения крепостные
выстроить заново, возвести
вновь города, проторить пути
в твердых обеих как бы впервые,
на море двинуть опять суда,
плыть посылаемые сюда.

Маленький город этот на вид - верблюда
напоминает: стакнутых два горба,
между - ковер базара и цирка блюдо,
проволокой стянутые короба

сонных домишек - не велика поклажа, -
так и стоит на месте тыщу лет,
не выходя за рамки заданного пейзажа,
ибо иного выхода просто нет.

Здесь - и Восток, и Запад, – с какого бока
ни подойди, ни подъедь – гремучая смесь,
спесь дремучая Запада и Востока. –
Я родился здесь, я вырос здесь.

«Две горы, две тюрьмы, посредине – баня».
Курск! обознаться немислимо - это ты!
Сколько лет, сколько зим! – А твои куряне? -
«...сведомы кметы, под трубами повиты,

под шеломы взлелеяны...». – Как там дальше?
Я из другого текста: изнежен, слаб,
извращенец, невозвращенец, фальши
собственных грёз и чужих наущений раб.

Я тебя приветствую! Ты мне дорог -
с чем бы таким сравнить, не меля чепухи
и не теряя в бессмысленных разговорах
время? - дорог, как эти мои стихи.

Циклопов язык из одних согласных:
шипящих, сопящих, небных, губных,
гортанных, – меж древлезвонкопрекрасных
ему не затеряться. На них

восславить лепо серебро потока,
волос любимой нощную ткань,
пропеть про *грустно и одиноко*,
земли и неба звенея брань

и чаши с горьким питьём. А этим,
как око единым на голом лбу,
сродни изрыгать проклятья столетьям
и всей вселенной трубить судьбу.

Нет равных ему в наречиях дольных,
безгласному, – люди на нём молчат.
Заткнись и ты, мой болтливый дольник, –
язык циклопов суров и свят!

Долго ты пролежала в земле, праздная,
бесполезная, и наконец пробил
час, – очнулась от сна, подняла голову
тяжкую, распрямила хребет косный,

затрещали, хрустя, позвонки – молнии
разновидные, смертному гром страшный
грянул, гордые вдруг небеса дрогнули,
крупный град рассыпая камней облых,

превращающихся на лету в острые
вытянутые капли, сродни зернам,
жаждущим прорасти все равно, чем бы ни
прорастать: изумрудной травой или

карим лесом, еще ли какой порослью
частой. – Ты пролежала в земле долго,
праздная, бесполезная, но – вот оно,
честно коего ты дождалась, время, –

ибо лучше проспать, суетой брезгуя,
беспробудно, недвижно свой век краткий,
чем шагами во тьме заблуждать мелкими
по ребристой поверхности на ощупь,

изредка спотыкаться, смеясь весело,
проповедуя: «Всё хорошо, славно!» –
потому-то тебя и зовут, имени
подлинного не зная, рекой – речью.